

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т52

Оформление переплета *Екатерины Ферез*

Толстая, Татьяна Никитична.
Т52 **Кысь / Татьяна Толстая.** — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. — 352 с. — (Эксклюзивная новая классика).

ISBN 978-5-17-091191-2

Татьяна Толстая — прозаик, публицист, телеведущая («Школа злословия»), лауреат Премии им. Белкина («Легкие миры»). Автор сборников рассказов «На золотом крыльце сидели...», «День», «Ночь», «Изюм», «Легкие миры», «Невидимая дева» и др.

Роман «Кысь» был удостоен премии «Триумф» и вошел в шорт-лист премии «Русский Букер».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-091191-2

© Татьяна Толстая
© ООО «Издательство АСТ»

А3

Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, чтобы ладно пришлось, проверил печную вьюшку, хлебные крошки смахнул на пол — для мышей, окно заткнул тряпицей, чтоб не выстудило, вышел на крыльцо и потянул носом морозный чистый воздух. Эх и хорошо же! Ночная вьюга улеглась, снега лежат белые и важные, небо синее, высоченные клели стоят — не шелохнутся. Только черные зайцы с верхушки на верхушку перепархивают. Бенедикт постоял, задрав кверху русую бороду, сощурился, поглядывая на зайцев. Сбить бы парочку — на новую шапку, да камня нету.

И мясца поесть бы неплохо. А то все мыши да мыши — приелись уже.

Если мясо черного зайца как следует вымочить, да проварить в семи водах, да на недельку-другую на солнышко выставить, да упарить в печи, — оно, глядишь, и не ядовитое.

Понятно, если самочка попадетя. Потому как самец, его вари не вари — он все такой же. Раньше-то

не знали, ели и самцов с голодухи. А теперь дознались: кто их поест — у того на всю жизнь в грудях хрипы и булькотня. И ноги сохнут. И еще волос из ушей прет: черный, толстый, и дух от него нехороший.

Бенедикт вздохнул: на работу пора; запахнул зипун, заложил дверь избы деревянным брусом и еще палкой подоткнул. Красть в избе нечего, но уж так он привык. И матушка, покойница, всегда так делала. В старину, до Взрыва, рассказывала, все двери-то свои запирали. От матушки и соседи этому обучились, оно и пошло. Теперь вся их слобода запирала двери палками. Может, это своеволие, конечно.

На семи холмах раскинулся городок Федор-Кузьмичск, родная сторонка, и шел Бенедикт, поскрипывая свежим снежком, радуясь февральскому солнышку, любуясь знакомыми улочками. Там и сям черные избы вереницами — за высокими тынами, за тесовыми воротами; на кольях каменные горшки сохнут или жбаны деревянные; у кого терем повыше, у того и жбаны поздоровей, а иной целую бочку на кол напялит, в глаза тычет: богато живу, голубчики! Такой на работу не пешедралом трюхает, а норовит в санях проехаться, кнутом помахивает; а в сани перерожденец запряжен, бежит, валенками топчет, сам бледный, взмыленный, язык наружу. Домчит до рабочей избы и встанет как вкопанный на все четыре ноги, только мохнатые бока ходуном ходят: хы-хы, хы-хы.

А глазами так и ворочает, так и ворочает. И зубы скалит. И озирается...

Ай, ну их к лешему, перерожденцев этих, лучше от них подальше. Страшные они, и не поймешь, то ли они люди, то ли нет: лицо вроде как у человека, туловище шерстью покрыто и на четвереньках бега-

ют. И на каждой ноге по валенку. Они, говорят, еще до Взрыва жили, перерожденцы-то. А все может быть.

Морозец нынче, изо рта парок пыхает, и борода вся заиндедевши. А все равно благодать! Избы стоят крепкие, черные, вдоль заборов — высокие сугробы, и к каждым-то воротам тропочка протоптана. Холмы плавно сбегают вниз и плавно поднимаются, белые, волнистые; по заснеженным скатам скользят сани, за санями — синие тени, и снег хрустит всеми цветами, а за холмами солнышко встает и тоже играет радужным светом в синем небе. Прищупишься — от солнышка лучи идут кругаями, поддашь валенком пушистый снег — он и заискрится, словно спелые огнецы затрепетали.

Бенедикт подумал об огнецах, вспомнил матушку и вздохнул: вот из-за тех огнецов и преставилась, сердешная. Ложными оказались.

На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмичск, а вокруг городка — поля необозримые, земли неведомые. На севере — дремучие леса, бурелом, ветви переплелись и пройти не пускают, колючие кусты за порты цепляют, сучья шапку с головы рвут. В тех лесах, старые люди сказывают, живет кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы-ысь! кы-ысь! — а видеть ее никто не может. Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами: хрусь! — а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет. Вернется такой назад, а он уж не тот, и глаза не те, и идет, не разбирая дороги, как бывает, к примеру, когда люди ходят во сне под луной, вытянувши руки, и пальцами шелелят: сами спят, а сами ходят. Поймают его и ве-

дут в избу, а иной раз для смеху поставят ему миску пустую, ложку в руку вторнут: ешь; он будто и ест, из пустой-то миски, и зачерпывает, и в рот несет, и жует, а после словно хлебом посудину обтирает, а хлеба-то в руке и нет; ну, родня, ясно, со смеху давится. Такой сам ничего делать не может, даже оправиться не умеет: каждый раз ему заново показывай. Ну, если жене или там матери его жалко, она его с собой в поганый чулан водит; а ежели за ним приглядеть некому, то он, считай, не жилец: как пузырь лопнет, так он и помирает.

Вот чего кысь-то делает.

На запад тоже не ходи. Там даже вроде бы и до рога есть — невидная, вроде тропочки. Идешь-идешь, вот уж и городок из глаз скрылся, с полей сладким ветерком повеваает, все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг, говорят, как встанешь. И стоишь. И думаешь: куда же это я иду-то? Чего мне там надо? Чего я там не видел? Нешто там лучше? И так себя жалко станет! Думаешь: а позади-то моя изба, и хозяйюшка, может, плачет, из-под руки вдаль смотрит; по двору куры бегают, тоже, глядишь, истосковались; в избе печка натоплена, мыши шастают, лежанка мягкая... И будто червь сердце точит, точит... Плюнешь и назад пойдешь. А иной раз и побежишь. И как завидишь издали родные горшки на плетне, так слеза и брызнет. Вот не дать соврать, на аршин брызгает! Право!..

На юг нельзя. Там чеченцы. Сначала всё степи, степи — глаза вывалятся смотреть, — а за степями чеченцы. Посреди городка стоит дозорная башня с четырьмя окнами, и во все четыре окна смотрят стражи. Чеченцев высматривают. Не столько они,

конечно, смотрят, сколько болотную ржавь покуривают да в палочку играют. Зажмет кто-нибудь в кулаке четыре палочки: три длинные, одну короткую. Кто короткую вытянет — тому шелбан. Но бывает, и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, велено кричать: «Чеченцы! Чеченцы!», тогда народ со всех слобод сбежится, палками в горшки бить начнет, чеченцев страшать. Те и шуганутся подальше.

Раз так двое с юга подступили к городку: старик со старухой. Мы в горшки колотим, топчем, кричим, а чеченцам хоть бы что, только головами вертят. Ну, мы — кто посмелей — вышли им навстречу с ухватами, веретенами, кто с чем. Что, дескать, за люди и зачем пожаловали.

— Мы, голубчики, с юга. Вторую неделю идем, совсем обезножели. Пришли менять сыромятные ремешки, может, у вас товар какой.

А какой у нас товар? Сами мышей едим. «Мыши — наша опора», так и Федор Кузьмич, слава ему, учит. Но народ у нас жалостливый, собрали по избам кто чего, выменяли на ремешки и отпустили их с Богом. После много о них разговору было: все вспоминали, какие они из себя, да что за сказки рассказывали, да зачем они к нам-то шли.

Ну, из себя они, как мы, обычные: старик седой, в лаптях, старушка в платочке, глазки голубенькие, на голове — рожки. А сказки у них были долгие да печальные: хоть Бенедикт тогда мал был да глуп, но слушал во все уши.

Будто лежит на юге лазоревое море, а на море на том — остров, а на острове — терем, а стоит в нем золотая лежанка. На лежанке девушка, один волос золотой, другой серебряный, один золотой,

другой серебряный. Вот она свою косу расплетает, все расплетает, а как расплетет — тут и миру конец.

Наши слушали-слушали, потом:

— Что, дескать, значит слово такое: «золотой», и что — «серебряный»?

А они:

— «Золотой» — это вроде как огонь, а «серебряный» — как лунный свет или же, к примеру, как огнецы светятся.

Наши:

— А, ясно. Ну, еще расскажите.

А чеченцы:

— Есть большая река, отсюда пешего ходу три года. В той реке живет рыба — голубое перо. Говорит она человеческим голосом, плачет и смеется и по той реке туда-сюда ходит. Вот как она в одну сторону пойдет да засмеется — заря играет, солнышко на небо всходит, день настает. Пойдет обратно — плачет, за собой тьму ведет, на хвосте месяц тащит, а часты звездочки — той рыбы чешуя.

Наши:

— А не слышать, отчего зима бывает и отчего лето?

Старуха говорит:

— А не слыхивали, милые, врать не буду, не слыхивали. А тому, правда, многие дивятся: зачем бы зима, когда лето куда слаще. Видно, за грехи наши.

Но старик головой pokrutil.

— Нет, — говорит, — на все должно быть свое объяснение из природы. Мне, — говорит, — один прохожий человек разъяснял. На севере стоит дерево вышиной до самых туч. Само черное, корявое, а цветики на нем белые, ма-а-ахонькие, как соринки. На дереве мороз живет, сам старый, бо-

рода за кушак заткнута. Вот как к зиме дело, как куры в стаи собьются да на юг двинутся, так мороз за дело принимается: с ветки на ветку перепрыгивает, бьет в ладоши да приговаривает: ду-ду-ду, ду-ду-ду! А потом как засвищет: ф-щ-щ-щ! тут ветер подымается и те белые цветы на нас сыплет: вот вам и снег. А вы говорите: зачем зима.

Наши голубчики говорят:

— Да, это правильно. Это так, должно быть. А ты вот, дедуля, неужто не боишься по дорогам ходить? Как же ночью-то? Не встречал ли лешего?

— Ой, встречал! — говорит чеченец. — Совсем близко видел, вот как вас, к примеру. Вот слушайте. Захотелось моей старухе огнецов покушать. Принеси да принеси. А огнецы в тот год поспели сладкие, тянучие. Я и пойди. Один.

— Как один? — опешили наши.

— А вот так! — похвастался чуженин. — Ну, слушайте дальше. Иду я себе, иду, а тут стемнело. Не то чтобы очень, а так, серенько стало. Иду это я на цыпочках, чтобы огнецов не спугнуть, вдруг: шу-шу-шу! Что такое. Посмотрел — никого. Опять иду. Тут опять: шу-шу-шу. Будто кто по листьям ладонью водит. Я оглянулся — опять никого. Еще шаг шагнул. И вдруг он прямо передо мной. Вот только что ничего не было, и вот уж он тут. Вот — руку протяни. И ведь небольшой такой. Может, мне по пояс али по титьки будет. Весь будто из старого сена свалян, глазки красным горят, а на ногах — ладоши. И он этими ладошами по земле при-тупывает да приговаривает: тяпа-тяпа, тяпа-тяпа, тяпа-тяпа... Ой и бежал же я!.. Не знаю, как и дома очутился. Так моей старухе огнецов и не досталось.

Тут детишки, которые слушали, просят:

— Расскажи, дедушка, какую еще нечисть в лесу видать.

Налили старику квасу яичного, он и начал:

— Был я тогда молодой, горячий. Ничего не боялся. Раз три бревна вместе лыком обвязал, на воду спустил — а речка у нас быстрая, широкая, — сел на них и плыву. Право слово! Бабы на берег сбежались, крик, визг, все как положено. Где же видано, чтобы человек по воде плавал? Это теперь, говорят, бревно долбят да на воду спускают. Коли не врут, конечно.

— Не врут, не врут! Это наш Федор Кузьмич придумал, слава ему! — кричат наши, а Бенедикт громче всех.

— Федор Кузьмич так Федор Кузьмич. Мы не знаем. Не ученые. Речь не об том. Ничего, я говорю, не боялся. Ни русалок, ни пузыря водяного, ни кочевряжки подкаменной. Я даже рыбку-вертизубку ведром поймал.

— Ну уж это... — наши говорят. — Это уж ты, дед, заврался.

— Правду говорю! Вот и старуха моя не даст соврать!

— Верно, — старуха говорит. — Было. Ой же я его ругала! Ведро опоганил, сжечь пришлось. А новое ведь пока выдолбишь, пока продубишь да просмолишь, да по три раза просушишь, да ржавью окуришь, да синим песком натрешь, — все-то я рученьки пообломала, надрываючись. А ему, вишь, доблесть одна. Потом вся деревня на него смотреть ходила. Кто и опасался.

— Естественно, — наши говорят.

Старик-то доволен.

— Зато, может, я один такой, — хвастает. — Чтоб вертизубку так близко видеть — вот как вас, к примеру, — и живым остаться. Что вы!.. Я богатырь был. Силища! Бывало, ка-ак заору! Пузыри в окнах лопаются. А сколько я ржави зараз выпить мог! Бочку усаживал.

А Бенедиктова матушка — она тут же сидела — губы поджала и говорит:

— А конкретную пользу вы из своей силы извлекали? Что-нибудь общественно полезное для коммуны сделали?

Старик обиделся.

— Я, голубушка, в молодые-то годы мог на одной ноге отсюда как вон до того пригорка допрыгать! А не пользу. Я, говорю тебе, бывало, как гаркну — солома с крыш валится. У нас все в роду такие. Богатыри. Вот старуха не даст соврать: у меня если мозоль али чирей вскочит — аж с кулак. Не меньше. У меня, я тебе скажу, прыщи вот такие были. Вот такие. А ты говоришь. Да если хочешь знать, у меня батя, бывало, голову почешет — с полведра перхоти натрясет.

— Да ладно вам! — шумят наши. — Ты, дедуль, про нечисть обещал.

Но дед, видно, не на шутку обозлился.

— Ничего говорить не буду. Приходят тут слушать... так слушай! А не подъялдыкивай. Всю, понимаешь, мечту разворотила. Небошь из Прежних, по говору чую.

— Это точно, — наши на матушку косятся. — Из Прежних... Давай, дедушка, начинай.

Рассказал еще чеченец про страсти лесные, про то, как тропинки различать: которые всамделишные, а которые — морок один, зеленый пар, травя-

ная кудель, волшебство и наваждение, — все приметы доложил; про то, как русалка на заре поет, кулдычет водяные свои песни: поначалу низко так, глубоко возьмет: ы, ы, ы, ы, ы, потом выше забирает: оуааа, оуааа, — тогда держись, гляди в оба, не то в реку затынет, — а уж когда песня на визг пойдет: ййих! ййих! — тут уж беги, мужик, без памяти. Рассказал про лыко заговоренное и как его опасаться надо; про Рыло, что народ за ноги хватает; и про то, как ржавь самую лучшую ищут.

Тут Бенедикт высунулся:

— Дедушка, а кысь видели?..

Посмотрели на него все как на дурака. Помолчали. Ничего не ответили.

Проводили бесстрашного старика, и опять в городке тишина. Дозор усилили, но больше на нас с юга никто не нападал.

Нет, мы все больше на восход от городка ходим. Там леса светлые, травы длинные, муравчатые. В травах — цветики лазоревые, ласковые: коли их нарвать, да вымочить, да побить, да расчесать — нитки прясть можно, холсты ткать. Покойная матушка на этот промысел непроторная была, все у нее из рук валилось. Нитку сучит — плачет, холсты ткет — слезами заливается. Говорит, до Взрыва все иначе было. Придешь, говорит, в МОГОЗИН — берешь что хочешь, а не понравится, — и нос воротишь, не то что нынче. МОГОЗИН этот у них был вроде Склада, только там добра больше было, и выдавали добро не в Складские дни, а цельный день двери растворены стояли.

Что-то не верится. Ведь это ж каждый забеги и хватай? Это ж сторожей не напасешься? Нас ведь только пусти: все разнесем до щепочки. А сколь-

ко народищу передавим? Ведь и в Склад идешь — глазами по сторонам зыркаешь: кому что дали, да сколько, да почему не мне?

А и смотрим зря: больше положенного не унесешь. Да не очень-то на чужой талан и зазевывайся: мигом тебе Складские Работники накладывают тулумбасов-то по шее. Получил, мол, свое — и проваливай! Не то и положенное отыmem.

Вот идешь из Склада с туесами, поспешаешь к себе в избу, нет-нет да и пощупаешь в туесах-то: все ли мое тут? Может, недоложили чего? Али сзади кто подкрался в переулке да и поживился, цопнул?

А бывает. Шла раз матушка со склада, а выдали ей воронье перо. На перину. А оно же легкое, несешь — будто и нет ничего. Пришла домой, холстину отдернула — батюшки-светы: пера нету, а вместо пера — говёшки. Ну, матушка в слезы, а отец хохотать. Ведь какой тать веселый оказался: не только добро попер, а еще и выдумку учудил, да с подковыринкой: вот, дескать, цена перу-то вашему. На-кося!

А объявилось перо у соседа. Отец его тягать: где взял? На торжище. На что сменял? На валенки. У кого? Сосед начал не знать: да я что, да я ничего, да я ржави упился, — что с него возьмешь. Так и отстали.

Ну что в Складе дают? Казенную колбаску из мышатинки, мышинное сальце, муку из хлебеды, перо вот, потом валенки, конечно, ухваты, холст, каменные горшки: по-разному выходит. Иной раз накладывают в туесок запселых огнецов, — где-то они там провоняли, так их и выдают. За хорошими огнецами самому идти надо.

Вот в аккурат на восход от городка стоят клелевые леса. Клель — самое лучшее дерево. Стволы у нее